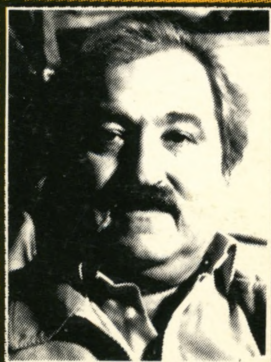
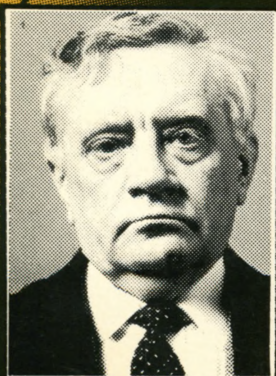
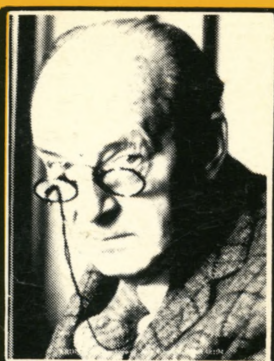
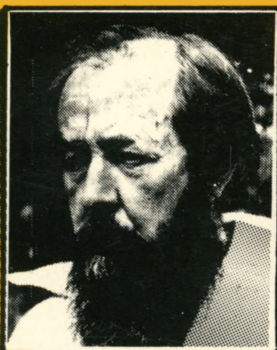


№1(61)

1989 г.

СТРЕЛЫ

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ



Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

СТИЛЬ И ИСТОРИОСОФИЯ «КРАСНОГО КОЛЕСА» А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

...Вышедшие к марту 1988 г. семь томов исторической эпопеи Александра Солженицына "Красное колесо" – классический пример непонимания современниками масштаба рождающегося прямо на их глазах творческого литературного феномена. В своё время – первые отзывы на "Войну и мир" скорее походили на хулиганские. Но "Красное колесо" и тут побило рекорды в амплитуде нежелания его принимать: от нарочитого молчания – до издевательств и ругани, доставляющих хулителям едва ль не... физическое наслаждение. При этом – и те и другие и впрямь уверены в своей "безнаказанности" перед судом потомков: уверены, что "Красное колесо" – грандиозная неудача. Обвинения самые разные: Солженицын антисемит, антидемократ, монархист, просто, наконец, графоман... Таким образом, ситуация складывается беспрецедентная: "властитель дум 60-70 гг." А. И. Солженицын теряет в читательском сознании современников авторитет с катастрофической, прежде в истории литературы всё же не встречавшейся, быстротой. И тут повинны отнюдь не только спекуляции недобросовестных и корыстных критиков, ситуация драматичнее. Мнится, что Солженицын разошёлся с современниками в своей... как теперь принято говорить *ментальности* его сознание – как бы в другой эпохе.

"Судьба писателя, — точно замечает крупнейший современный литературовед Лидия Яковлевна Гинзбург, — во многом зависит от соотношения его творческого временного ритма с ритмом исторического сознания читателей. Настоящий писатель всегда современен, но он может быть современен в очень разных ритмических категориях. Он бывает злободневным, бывает сезонным, он может уловить общественное настроение протяженностью в два — три года, может выразить поколение и может поднять проблему века /.../. Чем шире исторический охват, тем меньше возможностей, что произведение окажется сразу же актуальным, ибо временные ритмы не совпадут /.../. Гений, больше чем кто бы то ни было, работает на современность, но на современность другого масштаба. Сверстники же его (особенно второстепенные писатели) застывают на позициях своей молодости. Великого сверстника, идущего дальше, они перестают понимать. Они считают, что он испортился, что он не то делает /.../. Большой писатель, — продолжает Гинзбург, — учит людей по-новому понимать самих себя и действительность. Но не всех людей и не при всех обстоятельствах можно этому научить. Нельзя заставить по-новому увидеть мир и людей с застывшим мироощущением, нельзя научить людей, если они сопротивляются, полемизируют, не доверяют или воспринимают под заведомым углом зрения".

...По мере постижения исторического материала творческое сознание Солженицына преобразалось, сознание же современников накатанным путём консервировалось. Отсюда и оглушительный диссонанс, тем более, повторяю, драматичный, что "Красное колесо" не просто очередной не понимаемый современниками литературный шедевр, но книга, рассчитанная на прояснение исторического сознания, без которого невозможно возрождение родины.

Помнится, сразу после выхода в свет первоначальной редакции "Августа Четырнадцатого", в 1972 году Надежда Мандельштам сказала мне, что не верит в удачу солженицынского замысла, так как у него "отсутствует историческая концепция". Но это замечание Мандельштам я рассматриваю с обратным, сугубо положительным знаком: Солженицын принялся за работу без априорной концепции, которая вырабатывалась именно в *процессе творчества* и изучения материала, и вот мы, читатели, словно присутствуем при рождении исторической истины, а не иллюстрирующего доказательства какого-то заведомого догмата или умозрительной концепции. Так — и вернее и интереснее: поток истории не схематизируется, но развивается на наших глазах. Если "Архипелаг ГУЛаг" написан грозным общественным обви-

нителем, то в "Красном колесе" Солженицын выступил по отношению к истории в роли "частного детектива", который на наших глазах распутывает клубок исторического катаклизма и безжалостно устанавливает степень вины того или иного действовавшего исторического лица, казалось бы, навсегда ушедшего в небытие от суда истории.

"Вник я в Февральскую революцию, — сказал Солженицын в интервью Би-Би-Си в 1979 году, — и всё мне переосветилось. Я-то рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге — а тут я понял, что несчастный опыт Февраля, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу. Именно опыта Февраля мы не поняли, забыли и во внимание не принимаем..." Солженицын бьёт по мифу бескровного демократического Февраля, который создали обанкротившиеся его лидеры в эмиграции (тем более, что миф этот как нельзя лучше отвечал многим параметрам западного сознания): "Если вникнуть в повседневное течение февральских дней, в каждую мелочь и во всю реальную обстановку, то сразу становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла /.../ Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка /.../ Это были те самые либеральные деятели, которые годами кричали, что они доверенные люди России, и несравненно умны, и все знают, как вести Россию, и конечно будут лучше царских министров, — а оказались паноптикумом безвольных бездарностей и быстро всё спустили к большевистскому концу".

"Опыт художественного исследования" — этот подзаголовок к "ГУЛагу" применим и к "Красному колесу".

"Красное колесо" — многотысячестраничное, отнюдь не легкое чтение, несмотря на множество крупиц великолепного юмора; впрочем — чтение отнюдь и не более сложное, чем, скажем, эпические массивы Музиля или Пруста. И секрет, почему интеллигентско-эмигрантское сознание отталкивается от "Красного колеса", думается, в другом.

Солженицын безжалостно препарирует освободительный, повторяю, миф, легенду, возвращая сущностную историческую реальность, потому-то и столь болезненны и раздражительны реакции тех, кто живёт мифом, кто эксплуатирует миф: миф не метафизический, а идеологический, новый, гуманистический, уходящий корнями ещё в умонастроение XIX столетия — в материалистический рационализм и радикальный идеализм, возникшие на почве просветительской секуляризации человеческого мышления.

Это пророчески показали в "Бесах" у Достоевского: идеалист

40-х годов порождает нигилиста и радикала, а итог — шигалевщина. Если угодно, "Бесы" есть формула того, едва ли не детерминированного развития, которое — на реальном и потому вдвойне жутком конкретном историческом материале — исследует теперь Солженицын. И тут писатель задевает, пожалуй, наиболее болезненный нерв общепринятой социальной схемы, из интеллигентских святцев прошлого благополучно перекочевавший в советскую идеологию, а оттуда — в умы наших современников, *схемы*, по которой Освободительное движение является главной позитивной силой недавней нашей истории. ...Именно освободительская идеология, вернее, её носители легитимизировали вспыхнувший в Петрограде преступный военный бунт и как бы "срежиссировали" его в революцию. Именно они вытребовали себе власть, именно они — сходу потеряли её под напором левого экстремизма...

...Немало написано, например, на Западе о тех положительных реформах и законах, что якобы проводило Временное правительство, продукт левого либерализма в России. Но как бы не расценивать их, так сказать, абстрактное качество — они сравнимы скорее с опытами селекционера, разбившего своё экспериментальное хозяйство на кромке кратера Этны: стихия не подчиняется умозрению.

Как известно, Солженицын строит повествование "Красного колеса" по принципу выбора сжатых исторических отрезков, кажущихся ему в важной степени судьбоносными и определяющими, при этом делая ретроспективные вкрапления, необходимые для объёмного и исчерпывающего освещения того или иного персонажа или явления в целом. Таким образом, хотя формально "Красное колесо" открывается "Августом Четырнадцатого", в военной трагедии которого, по мнению Солженицына, как в зерне, заложена грядущая катастрофа России, — на деле мы имеем более стереоскопическую картину России ещё со времён террористов при Александре II и зарождения земства.

Общая "музыка", музыкальная композиция "Колеса" пока до конца не ясна, полностью мы расслышим её, лишь когда выйдут оставшиеся три тома: но уже сейчас чётко различимо — как военный драматизм и мирные импрессионистические картины "Августа Четырнадцатого" сменяются тревожным затишьем "Октября Шестнадцатого", столь остро необходимым нашему уху перед симфонической и энергичной динамикой "Марта Семнадцатого", читающегося с интересом приключенческого романа и держащего читателя в неослабевающем напряжении.

"Предупреждающие" музыкальные удары — то тут, то там —

различимы ещё и в "Августе" и в "Октябре", иногда обрисовка "звукового сопровождения" дается и впрямь через фонетику и определение звука, как например, в несравненно магической и страшной восьмой главе "Августа Четырнадцатого", в первоначальное издание не вошедшей. В содержании (а краткое содержание каждой главы – в конце томов – несёт свою смысловую и художественную нагрузку) – один из фрагментов этой главки назван "Эманации анархизма". В скобяной лавке под удары молотком по железу анархист приговаривает: "Всех подлецов стрелять по одному! /.../ Наели шеи жирные в крахмальных воротниках. А собачку нажмешь – мясная туша. /.../ А попам долговолосым – расчесать гривы, за гривы вешать". Вот они – покуда рассеянные – атомы грядущей революционной России.

Музыка "Красного колеса" – в самом размере глав, периодов, предложений... Чем длинее и "разговорчивей" главы и речь "Октября Шестнадцатого", тем сильнее эффект коротких с постоянно меняющейся экспозицией главок "Марта Семнадцатого", построенного по принципу *сот*, ячеек, каждая из которых и естественно ярко взаимодействует с окружающими и воздействует автономно – посредством новеллистической законченности, имея разряжение не только кульминационное, но порою и "просто" стилистическое, словесное. Эта, всё убыстряющаяся мозаика и составляет симфоническое единство "Марта" – не в ущерб общей стержневой капитальности композиции...

Полифония "Красного колеса", однако, не только в речевых и композиционных приёмах и множественности жанровых решений: она, естественно, в самой концепции роковых событий – беспощадно высвечивая убожество, а порою и inferнальность противогосударственных сил России, Солженицын отнюдь не стилизует противоположную сторону. "Красное колесо" – приговор бюрократическому и аристократическому правлению Николая II, царя-праведника, не способного, однако, вдохнуть жизнь в правящий аппарат. Как ни больно нашему патристическому чувству, но правда дороже: имперский режим оказался по сути *декорумом*, обвалившимся от первой же встряски.

Ещё в "Августе Четырнадцатого" Солженицын писал: "Как же могли *они* не проиграть Россию? Все их служебные помыслы были – напряженное слежение за системой перемещений, возвышений и наград. Разве это не паралич власти? То-то: как почти ни одного крупного генерала, начинавшего войну 1914 года, мы не встречаем потом в Белом движении, так ни один из этих полицейских зубров, любимчиков Двора и старцев Совета не промелькнёт на защите трона, когда он станет падать: все притаятся

или рассеются. Они от Седьмого года и до Семнадцатого не несли сознания полной опасности, наступила революция – они не имели присутствия духа даже для самозащиты.

А в третьем томе "Марта Семнадцатого" Ольда Андозерская с горечью размышляет:

"Да, но – где же та опора трона? У нашего государственного строя не проявилось ни исполнителей, ни друзей. Поразительно, не находится чиновника, который бы громко заявил, что по своим убеждениям он не может теперь оставаться на службе. Наоборот, все стараются уверить, что они всегда только и мечтали о низвержении старого строя. Кто недавно перевозносил царя, теперь обливает его грязью. Нет такого ослиного копыта, которое бы не спешило лягнуть, перед чем недавно пресмыкалось.

Но больше: где та преславная аристократия, ликовавшая по простору Руси три века? – те "наперстники разврата" (как теперь подмахивали журналисты)? Аристократию, лицо которой три столетия и выражало собою лицо России, – смело в один день, как не было её никогда. Ни одно из этих имён – Гагариных, Долгоруких, Оболенских, Лопухиных – за эту роковую неделю не промелькнуло в благородном смысле, – ни единый человек из целого сословия, так обласканного, так награждённого! А ведь мечтают о "волшебном избавлении". Но никто ничего не пытается делать. Многие из аристократов и гвардейских старших офицеров – надели красные банты!

И – где епископы? Церковь – где?

Но ещё хуже многих – сами члены династии: позорно спешили выдавать корреспондентам узнанное в интимных разговорах, особенно Кирилл Владимирович со своей Викторией. Да и хлопотун Николай Михайлович. И дутый рыцарь Николай Николаевич, не ведающий, как он повторяет другого дядю другого короля – Филиппа Эгалите, голосовавшего за казнь племянника, но не спасённого тем от гильотины.

В эти дни французская революция владела умами общества в мифическом плане. Но всё же французская монархия сопротивлялась 3 года, а наша – всего 3 дня. Да как же всё могло развалиться уж настолько, настолько быстро?! Когда умирал старый строй во Франции – находились люди, открыто шедшие за него на эшефот. Там были свои легенды, свои рыцари, Лавуазье, Анри Шенье.

Да и сам Государь! – из первых явил пример полного и мгновенного отступления. Как же мог он – как же смел отказаться от помазанья? (Вспомилась кислая усмешка Георгия – в чём-то он был и прав?..) Государь-то – первый и признал это теперешнее правительство."

...Главком Юго-Западного фронта генерал Брусилов – станет в будущем крупной фигурой в Красной армии, но уже и раньше – преданный Отечеству генерал Гурко знал ему цену: "Только что разбуженный генерал Гурко не нёс никаких следов сна, сразу готовый к действию – и кинул меткий взгляд на ленты телеграфа, не ожидая от этих петель добра. /.../ Один манифест... Другой манифест. Гурко шёл глазами по ленте и даже его напряженное нервное лицо отдавалось изумлению. Так надо было понять: кончилась династия? Кончилась и монархия в России? Закинул голову, зажмурился /.../ Ни в каком бою нельзя так пасть. Иметь полную силу, все гвардейские корпуса и ещё сверх негвардейские – и ничего не мог сделать. И сейчас все возможности его были – переговариваться через Брусилова. А это всё равно, что, закатив рукава для драки, начать по локоть месить говно".

Другой персонаж "Красного колеса", тоже, кстати, как и Андозерская, убеждённый монархист, генерал Свечин думает: "Что такое с военной точки зрения был весь взбунтовавшийся Петроград? Хаотичная голодная невооружённая масса, да ещё в самом невыгодном географически зажатом положении. Мятежные запасные батальоны были рыхлым сборищем необученных полусолдат, имеющих не более полувинтовки на четверых, и то не знающих, с какой стороны её заряжать. Действующая армия имела над Петроградом не то что превосходство, а – несравнимость. Глубоко покойное состояние фронта позволяло немедленно снять с него хоть полмиллиона солдат, но даже и тридцати тысяч было бы избыточно много.

И при всём этом Верховное Главнокомандование помышляло только об отступлении и сдаче. Это был паноптикум слабых и неспособных людей – что в Петрограде, что в Могилёве. Давно вереницею тянулась перед глазами выдающаяся бездарность и безликость всех назначений – и вот проступила враз параличом. Это не могло быть только промахами человекознания у Государя: даже действуя совсем вслепую, он по теории вероятностей иногда должен был ошибаться и назначать всё-таки достойных. Надо было невиданно изошряться, чтобы во главе правительства поставить развалину, военным министром – генерала в футляре, внутренних дел – прохвоста, командующим округом – чурбана и послать диктатором – оглядчивого труса."

Проработав, очевидно, исчерпывающе исторический материал и прекрасно понимая ту роковую роль, что сыграла в падении России леволлиберальная идеология, социалисты и другие партийцы, Солженицын, тем не менее, на вопрос профессора Струве: "Кто виноват в случившейся катастрофе?" – ответил: "Конечно,

виноваты все, включая простой народ, который легко поддался на эту дешёвую заразу, на дешёвый обман, и кинулся грабить, убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но всё-таки больше всех виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит историческая ответственность, они вели страну, и если они даже лично виноваты не больше других, то — как правящие — всё-таки виноваты больше. У императора и царицы не было злых намерений, но не было и полного сознания ответственности, не было личной адекватности — той ответственности, которая на них лежала”.

...И на крайних полюсах исторической полифонической амплитуды — два образа, выписанных столь выпукло и объёмно, что составляют как бы “роман в романе” и способны формообразовать отдельные книги — образы императора Николая II и Владимира Ленина. “Абсолютный верх — абсолютный низ”, но вот в процессе катаклизма им предстоит с головокружительной быстротой поменяться местами. Интонационный спектр, обрисовывающий эти образы, и сам по себе несравненно полифоничен: в отношении Николая — это и суд, и лирика, и тепло, и ирония, и горькая насмешка, и сердце рвущая жалость — с того момента, как царь отрёкся и вступил на путь крестный, ведущий к чудовищному екатеринбургскому злодеянию.

Ленин — идеологический фанатик, марионетка догмы, способная развивать бешеные энергии для борьбы с оппонентом, конкурентом, инакомыслящим. Вдохновение приходит, когда надо уничтожить противника. Это — механизм по выработке умозрительной тактики, государь — медлителен, Ленин — неутомим, в криминальной ситуации естественно побеждает наиболеестрейший.

Я, кажется, уже говорил, что “Красное колесо” построено на постоянном перемежении смысловых, психологических, жанровых, синтаксических и языковых оттенков. Патетика, аналитическая документалистика, романский язык, перекрёстные углы зрения, резкая смена видовых точек, ритмизированная проза, чёрный юмор, сарказм, ирония.

Перетекание исторической хроники в... уголовную, “экзистенциальные” монологи не только основных, но и... синильных, поданных, повторяю, с чёрным юмором персонажей — создают атмосферу, которая подчас, наряду с идейной сутью — роднит Солженицына с Достоевским.

Языковые пласты “Колеса” тоже не исчерпаемы, хотя и прослеживается определенная, мне лично очень импонирующая тенденция — от тома к тому — ко всё более светлой и прозрачной фактуре, пушкинской лапидарности от — быть может, и чрезмерного прежде увлечения Далем и языковой “этнографией”.

Однако эта лапидарная ясность сгущается порою в образы, свидетельствующие, что перед нами проза новейшая, какой ещё не бывало. Когда по Думе перебегают Круглый зал "невесомый бегун" Керенский и "лысый селезень" Чхеидзе, когда сжимается в кресле военный министр, "чёрная совка" Беляев, когда по Невскому идёт навстречу "интеллигентная и вполне либеральная пара – пингвин и гагара" – мы видим тут зрительную и психологическую концентрацию, какая прозе прошлого была недоступна. Но и самая, казалось бы, лапидарная безыскусность документальных фрагментов – естественно, только кажущаяся: текст организован мастерски, тут простота того качества, которую Пастернак называл "неслыханной".

Словесно – Солженицын то раздвигает периоды, не скупясь на придаточные и объяснительные, то сжимает фразу, до предела локализуя повествовательность. Перемежение диастол и систол текста сорганизовано так, что "музыка революции" словно идёт от самого словесно-фразеологического потока – едва ли не "автономно" от событийности, в *pendant* к ней...

Солженицын приводит образчики якобы свободной пост-революционной прессы, и эта "музыка революции", столь властно захватившая даже и лучшие умы того времени – выглядит на историческом расстоянии отвратительной...

Вот некоторые примеры, – в петербургских газетах от 4 марта:

"Родина воскресает! О, великий народ! Пришёл миг – и ты восстал, великий, могучий и прекрасный. Восстал как гигант – и цепи оказались паутиной, /.../ Семья Романовых – род деспотов и дегенератов. Мы должны смести этот мусор до основания. Только тогда мы будем утешены, этот миг заплатит нам за всё".

4 марта: "Когда арестованных полицейских вели по московским улицам, революционная толпа еле слерживала себя: "Убейте их! Разорвите их на куски!" Городовые повсюду стали предметом самого злого и вполне понятного издевательства". – Русские газеты словно шеголяют друг перед другом своей революционностью: 5 марта – "В тюрьму, к ответу величайшего преступника, атамана разбойничьей шайки Николая Романова" – это, правда, "Известия" – орган социалистов. Но, кажется, именно в те дни закладывается роковая обречённость царской семьи, всей императорской фамилии, включая детей и женщин. Неслучайно в одной из глав – 6 марта 17-го Солженицын заставляет императрицу Александру Федоровну пристально всматриваться в портрет Марии Антуанетты, обезглавленной во французскую революцию королевы.

В царскосельской спальне императрицы "было много икон, на всех стенах, — и горело несколько лампад.

Искала между ними успокоение.

Настолько не спалось, что вышла в кабинет — и, при верхнем свете, в глубокой ночной тишине, остановилась перед портретом Марии Антуанетты над своим столом. Откинув голову на заплетённые ладони — соединилась взглядом с ней и стояла недвижно.

С этим портретом, подарённым ей во Франции 7 лет назад, когда они с Государем посетили апартаменты Антуанетты и Людовика XVI, — государиня с первого мига почувствовала какую-то магическую связь. Ещё с детства судьба этой королевы выступала для неё из судеб других королей. Вся французская революция, с детства учённая как концентрация бесчеловечного зверства, ещё не имела никакого отношения к России, — а Александра воспринимала Антуанетту как свою затаённую сестру. В чём не оболганная? даже в распутстве и краже, — вся ложь, вся ненависть, вся месть так густо пришили на эту гордую женскую голову, — какое благородное сердце не забьётся в бессилии, что уже нельзя облегчить её участь?

С тех пор постоянно висел здесь этот портрет. Но только в самые последние дни Александра прозрела, что связь их — более роковая: что положение их — сходно.

Любимый Богородицын образ она положила на ночь под подушку.

Забывлась уже на рассвете."

Газеты не брезговали любыми, самыми абсурдными сплетнями: "Как установлено, в первые дни революции полицейские стреляли в народ разрывными пулями... И получали 100 рублей в сутки на человека". "В 2 часа ночи городовые из-за ограды Александровского сада из пулемётов расстреливали народ вдоль Невского. А чтоб их не было видно — надели белые балахоны". "Уж как Романовы ласкали полицию, какие щедрые подарки сулили ей за расстрел народа! — по 800 рублей за всю работу, а потом сказал пристав: по 200 рублей в час".

И такую дешёвку не стыдились писать якобы просвещённые столичные журналисты — и после того, как Николай II (именно, как он считал, чтобы избежать кровопролития и междуусобной бойни) — отрёкся от престола — и за себя и за царевича Алексея практически добровольно. Прощальное же обращение государя к армии было к обнаругованию повсеместно запрещено — вот тебе и свобода.

О "революционном" же, так сказать, насилии газеты писали в

инных тонах: "Вставшие на сторону народа казаки налетели как соколы ясные, приставу отрубили голову, а полицейский отряд отчасти порубили шашками, отчасти обратили в бегство". Вот она и по сей день та же, и посегодня актуальная лево-либеральная схема: убийство для дела революции – подвиг, то же для "реакции" – преступление.

"Пока не стали выходить газеты, – свидетельствует выше уже упоминавшаяся героиня "Красного колеса" Андозерская, – была оскалена только дикая морда революции: на крыльях нарядных автомобилей и внутри них мурлы, и наведенные на всех встречные дула, с прицелом по невидимому врагу. А из газет – полезла пошлость /.../. Поскольку революция была сразу же объявлена великой, бескровной, солнечной, улыбающейся, – то трупы офицеров и растерзанных городских надлежало замалчивать во имя идолов свободы. Так много цвелось красного повсюду, что кровь убитых не была видна. /.../ Ложь стала принципом газет с первых же дней их безудержной свободы /.../. Теперь-то, после революции, люди более всего и забоялись отличаться от остальных, восторгаться революцией меньше, чем соседи. Возникла боязнь не показаться достаточно радостным. Всех по России охватило холуйство приспособленчества к новым обстоятельствам. *Диктатура потока*".

Вот эту-то "диктатуру потока" – как левую, так и правую – Солженицын одинаково презирает; независимость личности, добровольно умеющей, однако, ограничить себя во имя Высшего – вот свойство всех наиболее значительных и ценимых автором персонажей "Красного колеса".

Именно таким – христианским качеством, верно, хотел бы наделить Солженицын и будущих граждан свободного от тоталитаризма Отечества. Это тот "высший тип", на который вообще уповает писатель в своих размышлениях о грядущем.

...И если есть у России будущее, то Солженицын – писатель этого будущего, ибо оно невозможно без знания и осмысления исторической *истины*. В этом смысле Солженицын не просто крупнейший русский прозаик послетолстовского времени, но и *целитель*, возвращающий нам её, верящий в становление Родины на промыслительные органические пути и уповающий, что принесенные жертвы всё-таки не напрасны.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	3
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ	
<i>Юрий Кублановский</i>	
С доверием к географии. Стихи	4
<i>Юрий Мамлеев</i>	
Отражение. Здравствуйте, друзья! Рассказы	8
<i>Генрих Сапгир</i>	
Этюды в манере Огарева и Случевского. Стихи	17
<i>Владимир Максимов</i>	
И аз воздам. Отрывок из романа	20
<i>Дмитрий Бобышев</i>	
Из книги: Звери Св. Антония. Бестиарий. Стихи	27
<i>Аркадий Бартов</i>	
Кое-что о Мухине. Повесть	37
<i>Татьяна Щербина</i>	
Из книги «Ноль-Ноль». Стихи	62
<i>Сергей Юрьенен</i>	
Медовый месяц. Отрывок из романа «Желание быть испанцем»	69
<i>Анри Волохонский</i>	
Песнь о Хасаре	86
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Юрий Кублановский</i>	
Мастерство. О прозе Татьяны Толстой	90
<i>Наталья Иванова</i>	
Шоковая терапия	93
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
<i>Владимир Набоков</i>	
Знаки и символы. Рассказ	121
<i>Георгий Иванов</i>	
Эллис. Рассказ человека из богемы	128
<i>Юрий Анненков</i>	
Ночное путешествие. Рассказ	137
ЭССЕ	
<i>Василий Аксенов</i>	
Чувство России	148
<i>Борис Тираспольский</i>	
По гамбургскому счету	154
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ	
Беседа с Татьяной Толстой. «Идеи гласности и перестройки интеллигенция поддерживает...»	161
Параджанов покоряет Париж (перевод беседы корреспондента газеты «Либерасьон» с Сергеем Параджановым)	174

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Натан Эйдельман

Проблемы и задачи политической истории
России XVII-XIX веков или рассказ о перестройках
с хорошим концом и перестройках с плохим
концом. Выступление в Париже, в Сорбонне,
в июне 1988 года 179

Дора Штурман

Размышления на крутом склоне 189

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Александр Глезер

Живопись на страницах «Огонька» 213

РАЗГОВОР О ЖУРНАЛЕ

Прощаясь с ежемесячником «Стрелец». Беседа
Александра Глезера и Сергея Юрьенена 218

Вадим Крейд

Приветственное слово «Стрельцу» 233

НАША КОНФЕРЕНЦИЯ

Международная конференция,
посвященная А.И.Солженицыну 236

Письмо А.И.Солженицыну
от участников конференции 237

Юрий Кублановский

Приветствие солженицынской конференции 238

Выступление Василия Аксенова 239

Выступление проф. Валерия Сойфера 245

Александр Глезер

Солженицын и эмиграция 249

Дмитрий Бобышев

Два лауреата 254

Галина Бови-Кизилова

Солженицын и Россия — неразделимы 261

Борис Тираспольский

Исполнение миссии 264

Проф. Джон Б. Данлоп

Как Александр Солженицын был почти
реабилитирован и снова предан анафеме 269

Юрий Кублановский

Стиль и историософия «Красного колеса»
А.И.Солженицына 283

Лев Посев

Солженицынские евреи 294

Дора Штурман

Несколько слов к семидесятилетию Солженицына 312

СОЛЖЕНИЦИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ

По сообщению газеты «Нью-Йорк таймс» от 13 декабря 1988 года, в Москве 11 декабря состоялись торжественные собрания, посвященные семидесятилетию А. И. Солженицына. Эти собрания прошли в Доме кинематографистов, Доме Архитекторов и в Доме медицинских работников.

В Доме кино выступили с речами председатель Союза кинематографистов Андрей Смирнов, литературные критики Игорь Виноградов, Владимир Лапшин, Юрий Корякин и главный редактор газеты «Московские новости» Егор Яковлев. Последний сказал: «Мы должны принять его таким, каков он есть» (обр. перевод с англ.). И. Виноградов в своем выступлении, под аплодисменты присутствующих, упомянул «Архипелаг ГУЛАГ». А Ю. Корякин заявил: «Дайте Солженицыну быть антикоммунистом. Достоевский был антикоммунистом, но можем ли мы называть его нашим врагом?» (обр. перевод с англ.).

Отдавая дань мужеству выступавших (напомним, что незадолго до солженицинских торжеств в Москве новый идеолог партии Вадим Медведев объявил на встрече с редакторами газет и журналов, что произведения и само имя писателя не должны больше упоминаться в печати), «Нью-Йорк таймс» замечает, и редакция «Стрельца» к этому замечанию присоединяется, что московские торжества, посвященные А. И. Солженицыну, не могли состояться без разрешения свыше.